

Глеб АЛЕКСЕЕВ

## МАРИЯ ГАМИЛЬТОН

*повесть*

Страсть любовная, до Петра I почти в грубых нравах неизвестная, начала чувствительными сердцами овладевать, и первое утверждение сей перемены от действия чувств произошло.

**Князь М. М. Щербатов**

**„О повреждении нравов в России“.**

### 1

Это было в дни, когда вернувшийся из заграничного бегства Алексей на Верховном Суде в аудиенц-зале кричал в лицо царю: "Велик ты, Пётр, да тяжёленек, злодей, убийца и антихрист! Проклянет бог Россию за тебя!" -- в дни, когда древняя, в горлатной шапке, в охабне, разбойничья, раскольничья, бородатая Русь лицом к лицу стала перед царём, проклиная его проклятием сына. В эти дни в Питербурх со всех сторон государства везли в кибитках, гнали по трактам увязанных в колодки по двое, по трое -- десятками, сотнями, тысячами свидетелей, участников, их родственников, их свойственников, их друзей и врагов, виновников "слова и дела" государева. Давно и досыта набиты тюрьмы, а очные ставки всё умножают очные ставки, и в застенках не хватает верёвок и топоров. Запамятованное одним, скрытое болью, когда пилилась нога, или всё тело, вытянутое дыбой, готово было лопнуть, как перезвеневшая струна, -- вспоминается другим и третьим и десятым -- на дыбе, на огне, на виселице, под взмахом топора, который ещё осмеливается блеснуть на солнце. И вот первого снова вздымают на дыбу, и по спине его, прорванной клочьями загнившего мяса, снова хлещет верёвка, вырывая новое признание -- о четвёртом, о пятом, о шестом. А пятый, задавленный петлёй, ведёт на плаху седьмого, а шестой, взятый в кнуты, обзывает новых пятнадцать. Двадцатую фамилию прошептали синие, скоробленные губы умирающего. И двадцать первую! И ещё одну! И ещё! Кого же? Врага, с которым давние счёты. Личного своего обидчика, -- пусть и он изведает силу царёва кнута. А может быть, соседа? Даже близкого. Но чтобы отпустили хоть сейчас! Хоть на сегодня! Хоть на минуту! Нет! Никому пощады нет! Всех сюда! Жену, брата, сестру, вчерашнюю любовницу, всех, кто видел, кто слышал, кто не осмелился видеть и слышать, всех, кто посмел догадаться и кто догадаться не посмел. В застенков! Да постойте же! Ни капли не осталось сознания, кровь выщежена из этих обвисших освежеванными тушами тел, смертью схвачены их глаза -- и сами они не знают, что говорят. Постойте же! Шатается застенок, дыба устала, кровавым потом вспотели палачи, кидают в угол измочалившуюся верёвку, кидают в угол иступившийся топор. А люди всё идут и идут на муку. И жизнь всё идёт и идёт, не узнавая сегодня тех, кто был ей нужен вчера. От друзей царевича Алексея простёрся кровавый след до собственных друзей императора, до князя Якова Долгорукова, до графа Бориса Шереметева, до Баура, до неудачливого навигатора Голицына, до Стефана Яворского, до Иова Новгородского, -- да что Стефан и Иов, если сам князь-папа Ромодановский, сам светлейший Меншиков -- брошены на подозрение.

...Проснувшись в четвёртом часу утра, когда дрянненький питербурхский рассвет, которому, казалось, никогда и не родить дня, обмазал молочным киселем окна, Пётр опухшими и со сна простодушно-добрыми глазами с минуту смотрел на узорчатые городки муравленой, с утра жарко натопленной печи. В нос шибало гуляфною водкой, какую подливали в печь для духу, на языке налип колтун после вчерашнего канупера и "большого орла", хваченного на ассамблее у Алексашки, а тесноватый, в затейливо голубую кромку ночкой колпак слез на бровь и натёр лоб до боли. Отхаркнув в угол утреннюю дрянь, Пётр кивком головы обронил колпак и приподнялся на локтях: по утреннему этому его знаку дежурный денщик мчался с рюмкой анисовой, и -- царь начинал утро. Но в комнате было тихо, насморочный сквозняк, подувавший от незамазанного окна, колыхал натянутый под потолком тент; ожидая денщика, Пётр поднял глаза на провисшую перину тента, на которой за ночь пробились жёлтые капли испарений, и в момент этот ощутил бередливое, будто от щекотки, беспокойство. Это беспокойство овладевало им всегда, если забывал он о нужном, о чём, проснувшись, надлежало